

ИЗЛОМ ГОРИЗОНТА



Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов
Излом горизонта

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Излом горизонта / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Пилот Виктор Рейн подписывает контракт на испытательный дальний рейс, нарушая обещания, данные умирающей дочери, — потому что деньги за риск равны стоимости экспериментальной терапии, замораживающей её болезнь. На незнакомой траектории корабль срывается в чужой сектор и садится в мире, где само время дало трещину: чужие города стоят целыми, но их жители растянуты в одной вечной микросекунде, тянущиеся друг к другу и не касающиеся. Виктор возвращается домой не один, привезя дар, который спасает дочь и весь мир — и в котором прячется цена, соразмерная галактике. История о том, чем платят за чудо и почему честное время должно идти по прямой и кончатся.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Экспозиция	5
Часть 2. Завязка	10
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Излом горизонта

Часть 1. Экспозиция

Часы стояли.

Виктор понял это раньше, чем вошёл в палату, — по тишине, которая была не отсутствием звука, а отсутствием одного определённого звука. Двенадцать лет этот тонкий латунный ход жил в их доме, и Виктор привык не замечать его, как не замечают собственное дыхание или свет из окна. Замечаешь, только когда его нет. И вот теперь его не было, и коридор клиники казался глуше, чем должен, будто кто-то снял с мира верхнюю ноту и оставил один нижний гул — приборов, вентиляции, чужих шагов за стеной.

Он остановился в дверях. Он делал так всегда в последние месяцы — останавливался и слушал, идёт или нет то тонкое дыхание дочери, по которому он научился читать её ночи. Майя спала на боку, подтянув колени к груди, и в синеватом свете приборов её лицо было цвета старой бумаги, из тех, что рассыпаются, если развернуть. На тумбочке лежали часы — карманные, на потёртой цепочке, с гравировкой, которую уже нельзя было прочесть, потому что три поколения больших пальцев стёрли буквы до слепой гладкости.

Часов было двое, одинаковых, как близнецы: дед сделал пару своими руками и одни отдал Майе в день, когда она родилась, а другие — сыну. Эти, её, лежали на тумбочке. Их двойник, отцовский, Виктор носил у сердца. И встали они почти в один день: её — в час, когда назвали болезнь; его — тем же вечером, потому что Виктор остановил свои сам, не в силах больше слушать, как ровно они идут, пока дочь угасает. С тех пор оба хронометра молчали, и он не позволял себе думать о том, что молчание это стало похоже на траур, объявленный заранее. «Заведём вместе» значило: оба разом, она — свои, он — свои.

Он вошёл. Взял часы с тумбочки — осторожно, чтобы не звякнула цепочка. Латунь была холодной, как всё в этой комнате: как поручни кровати, как металл капельницы, как воздух, который здесь зачем-то держали холодным, будто холод мог что-то замедлить. Он поднёс часы к уху — по привычке, которую перенял у самой Майи, а та у деда, — и не услышал ничего. Ни хода, ни трепета пружины. Мёртвая тяжесть механизма, забывшего, зачем он.

— Ты пришёл, — сказала Майя, не открывая глаз.

— Я всегда прихожу.

— Не всегда. — Она открыла глаза, и в них не было упрёка, только та точность, которая появилась у неё за этот год — взрослая, взявшаяся ниоткуда, как седина берётся у человека за одну ночь. — Иногда ты стоишь в дверях и думаешь, войти или нет. Я слышу. Ты дышишь по-другому, когда думаешь. Медленнее. Будто считаешь.

Он сел на край кровати. Матрас почти не прогнулся — он и сам за эти месяцы стал легче, будто болезнь дочери отъедала понемногу и его, и они убывали вместе, каждый по-своему.

— Часы стоят, — сказал он, чтобы не молчать.

— Стоят. — Она высвободила руку из-под одеяла и протянула, и он вложил часы ей в ладонь. Пальцы у неё были тонкие, на просвет розовые у ногтей. — Я не стала заводить.

— Почему?

— Потому что мы договорились. — Она сжала часы, и цепочка свесилась между пальцев. — Вместе. Когда я встану на ноги. Ты сказал: заведём вместе. Значит, одна я не буду. Иначе это будет не то.

Он хотел сказать что-нибудь. Что-нибудь отцовское, крепкое, из тех слов, которыми отцы затыкают дыры в мире, чтобы дети не видели, что за дырами — ничего. Но слова требуют

опоры, а опоры у него не было: он знал цифры не хуже врачей. Он знал, что через месяц, самое большее два, её организм перестанет отвечать даже на то, что ещё как-то отвечало. Он знал, что «встанешь на ноги» — это не прогноз, а форма молитвы, а молиться он не умел никогда, даже когда очень хотел, даже когда стоял вот так, на краю кровати, и чувствовал, как молитва подступает к горлу и не находит слов.

— Заведём, — сказал он наконец. — Обещаю. Мы заведём их вместе.

Майя смотрела на него долго, тем прямым взглядом, от которого он всегда чувствовал себя пойманным.

— Ты опять дышишь по-другому, пап.

— Как?

— Как будто уже уходишь. — Она положила часы обратно на тумбочку, точно, циферблатом вверх, как кладут то, что берегут. — Ты только пришёл, а уже дышишь на уход.

Он не ответил. Он и правда уже уходил — не телом ещё, но той частью, что решает раньше тела. Он просто пока не знал, куда.

Доктор Веер приняла его в кабинете без окон, где всё было расставлено с той аккуратностью, которая выдаёт человека, привыкшего сообщать плохое и оттого держащего в порядке хотя бы предметы. Она всегда касалась запястья Майи, когда говорила о ней при обходе, — не для того, чтобы считать пульс, аппарат делал это точнее, а будто проверяя тайком, что девочка ещё тёплая. Сейчас запястья не было, и её руки лежали на столе сцепленными, и это делало её слова тяжелее, словно им не на что было опереться.

— Есть протокол, — сказала она. — Экспериментальный. Не наш — его ведёт другой консорциум, я к нему отношения не имею, кроме того, что я читала данные. И мне снятся эти данные, доктор Рейн. Врачам не должны сниться данные, но эти снятся. — Она помолчала. — Он не лечит. Он останавливает. Вы понимаете разницу?

— Не лечит, но останавливает, — повторил Виктор. — Замораживает.

— Замораживает прогрессию. Даёт время. — Она разняла руки, будто отпустила невидимое запястье, и Виктор почему-то заметил это движение и запомнил. — Иногда времени достаточно, чтобы дождаться настоящего лечения, которое ещё не изобрели. Иногда время — это всё, что вообще бывает. Иногда время и есть лечение. — Она посмотрела на него. — Я говорю это осторожно, потому что не хочу дать вам ложную надежду. Но и отнять её не имею права.

— Сколько.

Она назвала сумму. Виктор смотрел на число, всплывшее на встроенном в стол экране, и чувствовал, как оно оседает где-то под рёбрами — тяжёлое, простое, окончательное. Это была не сумма, которую можно занять у друзей или выпросить у банка. Это была сумма, ради которой люди делают то, чего поклялись не делать; сумма, за которой начинается другая жизнь, где ты уже не тот, кем был до неё.

— У меня нет таких денег, — сказал он.

— Я знаю. — Веер не отвела взгляда. — Я говорю вам это не потому, что верю, будто вы их найдёте. Я говорю, потому что если бы я промолчала, а вы потом узнали, что был протокол, что была возможность, — вы бы не простили. Ни мне, ни себе. А непощение — плохой спутник для того, кому предстоит хоронить. — Она чуть подалась вперёд. — Я вижу много отцов, доктор Рейн. Я научилась различать тех, кто отпустит, и тех, кто пойдёт вразнос. Вы — второго рода. Поэтому я и говорю осторожно.

Он кивнул. Встал. У двери остановился, держась за ручку.

— Если появятся деньги. Быстро. Через неделю. Это не поздно?

Веер помолчала, и в молчании этом Виктор услышал, как она взвешивает — не медицину, а его.

— Через неделю — нет, — сказала она. — Через месяц — я не знаю. Это болезнь, а не расписание. Она не читала протокол и не собирается его ждать. — Она снова сцепила руки. — Не делайте глупостей, которые нельзя отменить. Слышите? Того, что нельзя отменить, всегда больше, чем кажется.

Он вышел, не ответив, потому что уже думал о глупости, которую нельзя отменить, и о том, где её взять.

Орн принял его в ангаре, а не в кабинете, и Виктор понял, что это тактика, ещё поднимаясь по гулкой лестнице к смотровой площадке. В кабинете человек — проситель. В ангаре, под брюхом корабля, человек — пилот; а пилота легче уговорить летать, чем просителя — просить. Орн знал такие вещи. Орн вообще знал, где кого поставить.

«Икар» висел в лесах, распахнутый по левому борту, и внутренности его сияли непривычно — не медью и сталью старых кораблей, к которым Виктор привык за двадцать лет, а чем-то, чему он не находил имени: линиями холодного света, что уходили в глубину корпуса и там смыкались в узлы, слишком правильные, слишком безупречные, чтобы быть человеческими. Программа купила лицензию на эти двигатели у кого-то, кто купил у кого-то, кто, говорили, выкупил на аукционе патентов невнятного происхождения; корни терялись в юридическом тумане. Говорили — прорыв. Говорили — новая физика, метрика, которую наконец научились «настраивать». Виктор смотрел на светящиеся узлы и чувствовал то же, что чувствовал в кабине любого незнакомого аппарата: профессиональное уважение и лёгкую, привычную неприязнь к тому, что не понимаешь до последнего винта. Машину, которую не понимаешь, нельзя починить в аварии. А аварии Виктор понимал лучше, чем чудеса.

— Гипертраектория, — сказал Орн, не здороваясь, будто они не расставались. На нём был костюм, который стоил как крыло малого катера, и сидел он так, будто Орн в нём родился. — Испытательная. Мы прокладываем коридор в сектор, куда никто не заглядывал, — дальше, чем ходили. Три недели туда, разворот, три обратно. Ты просто ведёшь. Машина делает всё сама, ты — на случай, если она чего-то не знает.

— Машины всегда чего-то не знают, — сказал Виктор. — Именно поэтому за них платят пилоту, а не пассажиру. Это ты хотел услышать?

Орн улыбнулся. Улыбка у него была ухоженная, как костюм, и такая же дорогая.

— Я хотел услышать, что ты ещё помнишь, зачем нужен. — Он оперся о перила площадки, глядя вниз, на корабль. — Я знаю про твою дочь, Виктор. Все знают, это не секрет, о таком в нашем деле знают все. И я знаю, что ты поклялся ей не уходить в дальний. Красивая клятва. Я не давлю на неё. Я просто кладу рядом цифру и ухожу, а ты уж сам решай, что для дочери важнее — чтобы отец сдержал слово или чтобы она дожила до того дня, когда сможет спросить, сдержал он его или нет.

Он положил планшет на верстак, экраном вверх, и отступил на шаг, честно, как игрок, открывающий карту. Виктор посмотрел на цифру. Это была та самая сумма, что назвала Веер, плюс ещё сверху — на дорогу, на терапию, на то неопределённое «немного», которое всегда набегаёт, когда речь о жизни ребёнка и когда торгуются не о цене, а о времени.

— Риск, — сказал Виктор. Не вопрос — требование назвать.

— Есть. — Орн не соврал, и это было хуже вранья, потому что честному человеку веришь и в остальном. — Гипертраектория новая. Мы её моделировали, гоняли на симуляторах сотни раз, но модель — это модель, ты сам знаешь. Был один физик, который поднимал шум. Говорил про нестабильность метрики на больших плечах. Мы проверили. Не подтвердилось. Комиссия закрыла вопрос. Программа идёт.

— Кто говорил?

— Неважно. — Орн застегнул пиджак, хотя тот и не был расстёгнут, — жест, которым он закрывал тему. — Люди всегда говорят про нестабильность, когда завидуют чужому запуску или хотят въехать в проект на чужой спине. Наука полна таких кассандр. Если бы мы слушали каждого, кто кричит «остановитесь», мы бы до сих пор жгли костры и боялись затмений. — Он посмотрел на Виктора прямо. — Так летишь или нет? Мне нужен ответ сегодня. Окно траектории не ждёт, как и твоя дочь.

Виктор смотрел на светящиеся узлы в брюхе «Икара». Они тянулись друг к другу и не смыкались, оставляя между кончиками линий крохотный зазор, и в этом незавершённом жесте было что-то, от чего у него зачесалось между лопаток — старым, звериным чутьём пилота на неладное. Но он был усталый человек с умирающей дочерью, и он давно научился слушать то, что чешется между лопаток, потому что чутьё — роскошь тех, у кого есть выбор, а у него выбора не было.

Дома, на тумбочке, лежали часы. Чтобы завести их вместе, нужно было, чтобы было это «вместе». Чтобы было «вместе», нужно было время. Время стоило ровно столько, сколько светило сейчас на планшете, — и ни монетой меньше.

— Лечу, — сказал Виктор.

Он нарушил оба обещания разом — не уходить в дальний и быть рядом, — и сделал это одним словом, коротким, как выдох. Он подписал контракт стоя, не садясь, будто так это меньше считалось, будто стоя человек не связывает себя до конца; и подпись вышла чужой, дёрганой, с обрывом в середине, где рука на миг отказалась идти дальше. Орн смотрел, как он подписывает, и не улыбался больше — у него хватило такта не улыбаться. Гул ангара сомкнулся над Виктором, как вода над камнем, и стало тихо и глубоко.

— Ты правильно решил, — сказал Орн негромко.

— Не тебе судить, правильно ли, — ответил Виктор и пошёл вниз, к кораблю.

Старт «Икара» был красивым. Старты всегда красивы — в этом их главный обман. Виктор лежал в ложементе, и ускорение вдавливало его в форму его же тела, выжимало из головы всё лишнее, и на несколько минут он был просто пилотом, без дочери, без долгов, без стоящих часов на тумбочке — только руки, приборы и тонкая, чистая, ни с чем не сравнимая радость машины, идущей вверх, против всего веса мира. Ради этой минуты он когда-то и стал летать. Ради неё же, наверное, и поклялся больше не летать, потому что понял, что она сильнее клятв.

Толен, бортинженер, лежал в соседнем ложементе и мурлыкал сквозь перегрузку что-то бессвязное — привычка, которая раздражала Виктора первые сутки любого рейса и успокаивала все остальные. Толен был из тех, кто чинит всё изолентой и верит, что мир держится на изоленте и здравом смысле, и, глядя на него, Виктор почти в это верил.

— Красиво идём, — просипел Толен, когда перегрузка отпустила. — Люблю новые движки. Врут красиво.

— Что врут?

— Что вечные. — Толен отстегнулся, поплыл к своей панели, любовно похлопал по разъёму, где вчера намотал свежую изоленту. — Ничего вечного нет, командир. Есть только то, что ещё не сломалось. Вот это — ещё не сломалось. Зодческий ремонт для бедных. — Он постучал по изоленте. — Держит лучше их светящихся фокусов.

Планета отвалилась вниз и стала шаром, шар — жемчужиной, жемчужина — точкой. «Икар» вышел на гипертраекторию, и мир за иллюминатором сделал то, что делает всегда на таких плечах: свернулся, растянулся, потерял привычный смысл, превратился в вязкую световую кашу, на которую лучше не смотреть долго. Виктор и не смотрел. Он смотрел на приборы, и приборы были спокойны, и он привык доверять приборам больше, чем виду за окном.

Потом один из них дрогнул.

Не тревога — просто дрожь, будто стрелка споткнулась о невидимый порог. Индикатор метрики, тот самый, что показывал состояние коридора вокруг корабля, — он держал ровный ноль двенадцать часов, всю первую вахту, и вот теперь дрогнул на волосок, на ничто, на четверть деления, — и вернулся к нулю.

Виктор смотрел на него. В нижнем углу экрана, в служебной строке, где система пишет то, что считает несущественным для человека, появилось слово, которого он раньше не встречал в лётной документации ни разу за двадцать лет. Одно слово, набранное сухим техническим шрифтом, без пояснения, без кода ошибки, без ссылки на регламент.

Излом.

Строка мигнула и погасла сама, будто её и не было. Стрелка держала ноль, ровный и невинный.

— Толен, — сказал Виктор. — Ты видел вот это?

— Что? — Толен подплыл, глянул. Ноль. — Ничего не вижу. Ноль как ноль.

— Слово было. В служебной. «Излом».

Толен пожал плечами, оттолкнулся обратно к своей панели.

— Мало ли что они туда пишут, программисты. У них там половина строк — для самих себя, чтоб не скучали. Ноль держит — значит, всё держит. — Он снова похлопал по изолянте, как по талисману. — Спи, командир. Твоя вахта была. Я посижу.

Виктор проверил стрелку ещё раз, потом ещё. Ноль. Он записал время сбоя в журнал — привычка старого пилота, который знает, что мелочи мстят тем, кто их не записал, — и не стал спорить с Толеном. Ничего ведь и правда не случилось. Стрелка споткнулась и пошла ровно. Так споткнулись бы и часы, если бы кто-то тронул их во сне, задел маятник и отпустил, — качнулись и замерли снова.

Он закрыл глаза. Под веками ещё стояло то слово, сухое, без объяснений.

Он не знал ещё, что это был первый тик. Что кто-то тронул маятник мира, и мир качнулся, и что качнётся он теперь до конца.

Часть 2. Завязка

Аномалия пришла на восемнадцатый час, и она не спрашивала.

Виктор проснулся от того, что «Икар» кричал. Не сирена — сирена была бы милосердием, у сирены есть смысл, у сирены есть регламент и действие, которое она требует. Это был крик самого корпуса, металла, который тянут разом в две стороны, звук, какого не должно быть у исправной машины; и под этим криком, глубже, лежал другой, от которого у Виктора зашло в затылке и застыла кровь: тиканье. Быстрое, дробное, множественное, будто тысяча часов пошла разом и все — вразной, обгоняя друг друга, торопясь неизвестно куда.

Индикатор метрики был красным. Не дрожал, как вчера, — горел, сплошным, ровным, злым красным. Коридор гипертраектории рвался вокруг них, и в иллюминаторе свет звёзд не мерцал больше, а тянулся длинными светящимися нитями, будто кто-то расчёсывал вселенную гребнем, разбирая её на пряди.

— Толен! — Виктор был уже в ложементе, руки шли по приборам сами, память тела впереди сознания, как всегда в такие секунды. — Толен, в кресло, живо!

Бортинженер ввалился в рубку, ещё не проснувшийся до конца, цепляясь за поручни в дёргающемся корабле, — и это его спасло на одну секунду и погубило потом: он не успел испугаться, а значит, не успел ошибиться, не успел сделать то лишнее, что делает испуганный человек. Он просто добрался до кресла, сел, пристегнулся привычными руками, глянул на красное.

— Что это? — Голос у него был хриплый со сна, но ровный. Толен и в аду остался бы ровным.

— Не знаю. — Виктор гасил тягу, выравнивал, ловил корабль, который не хотел ловиться. — Метрика рвётся. Коридор схлопывается. Держись за что-нибудь, кроме ремней.

— За изоленту подержаться? — Толен всё-таки пошутил, и Виктор был ему за это благодарен: пока Толен шутит, мир ещё стоит.

Впереди, там, где не должно было быть ничего, где по всем картам зияла пустота, вставала планета. Она пришла ниоткуда — только что был пустой сектор, тьма и нити разобранных звёзд, и вот масса, гравитация, край атмосферы, наливающийся светом, — и «Икар» падал на неё, потому что рваная траектория выплюнула их прямо в колодец чужого притяжения, без подхода, без расчёта, без единой секунды на то, чтобы обойти.

— Атмосфера, — сказал Толен, уже не шутя, читая приборы. — Плотная. Успеем затормозить, если развернёмся кормой. Командир, кормой!

— Разворачиваю.

Корабль не хотел разворачиваться. Метрика вокруг него была неоднородной — Виктор чувствовал это руками, через отклик рулей: с одной стороны корпуса время шло гуще, с другой жиже, и «Икар» вёл себя как лодка, у которой одно весло в воде, а другое в киселе. Он выправил, потерял, выправил снова, вжимаясь в ложемент под нарастающей тряской, и увидел, как навстречу несётся серо-стальная поверхность, изрезанная теньями, — ни огней, ни морей, мёртвый камень.

— Садимся жёстко или красиво? — спросил Толен. Это была их старая присказка, шутка на все случаи, и он бросил её в последний раз с той же интонацией, что и всегда, будто они заходили на обычный полигон.

— Жёстко, — сказал Виктор.

Они сели жёстко.

Он мало что запомнил из самой посадки — так устроена память, она бережёт человека, пряча то, чего он не выдержал бы, помня целиком. Он запомнил рваными вспышками: удар, от которого зубы клацнули друг о друга; вой сминаемых опор; как погас и снова зажёгся свет;

как что-то большое сорвалось в грузовом и покатилося. Он запомнил, что кричал Толен — и что крик его оборвался не по-человечески. Не затих, не перешёл в стон, не сорвался в кашель. Именно оборвался, ножницами, посреди звука, будто кто-то вырезал из мира ровно ту долю секунды, в которой Толен кричал, и склеил края.

Потом «Икар» замер. Осела пыль. Стало очень тихо — той тишиной, что приходит после огромного шума и звенит в ушах собственным звоном.

Виктор отстегнулся дрожащими руками. Повернул голову.

Кресло справа было пустым.

Не разбитым, не окровавленным — пустым. Ремни висели застёгнутыми, как были, пряжка на месте, подгонка по фигуре Толена, — но фигуры не было. Панель перед креслом была разворочена, вспорота ударом, и по свежему разлому шла изоленга, синяя, аккуратно намотанная вчера. «Зодческий ремонт для бедных». Изоленга держалась. Толен — нет.

Виктор сидел, пристёгнутый уже наполовину, живой, целый, один, и смотрел на пустое кресло, и не понимал. Человек был. Секунду назад человек был, кричал, дышал, шутил про изоленгу. Куда девается человек за долю секунды из застёгнутых ремней?

Много позже он поймёт, что произошло, — что в момент удара метрика в правой части рубки на неуловимое мгновение пошла иначе, чем в левой, что граница разнотемпья прошла точно по креслу Толена, и разница темпов прошла сквозь живое тело так же, как проходит коса сквозь траву: без злобы, без цели, просто потому, что коса острая, а трава мягкая. Толена не убило. Толена рассекло по времени — часть его осталась в одном мгновении, часть в другом, и между ними не было моста. Но в тот час Виктор не понял ничего. Он просто сидел и слушал, как остывает корпус, как потрескивает металл, отдавая тепло чужому холодному камню, и как под всем этим, далеко, всё ещё тикает что-то дробное и множественное, — и звал Толена по имени, тихо, зная уже, что не дозвётся.

Город он увидел на рассвете — если это был рассвет; свет здесь вёл себя странно, не поднимался из-за края, как положено свету, а как бы просачивался отовсюду сразу, ровно и нехотя, будто кто-то настраивал яркость мира вручную и делал это без души.

Город стоял целым.

Виктор ждал руин. Он был готов к руинам, он всю дорогу от корабля готовил себя к руинам — рухнувшим башням, оплавленным улицам, пыли веков; руины он понимал, руины — это честно, это то, что время делает со всем, к чему прикасается. Но перед ним, в чаше между серых холмов, лежал город без единой трещины: башни, тянущиеся вверх плавными, нечеловечески текучими линиями, будто выросшие, а не построенные; мосты, переброшенные между ними так легко, что казались нарисованными; площади, лестницы, арки. Ни пыли, ни следов огня, ни того запустения, той тихой капитуляции материала, которую оставляет на всём даже сотня лет. Город выглядел так, будто жители вышли из него минуту назад и вот-вот вернуться.

Жители не вышли. Жители были здесь.

Он увидел их, когда спустился к первой площади, и остановился, и что-то в нём остановилось вместе с ногами, отказавшись идти дальше.

Они стояли на площади. Их было много — сотни, — и они были живыми. Он понял это сразу, всем нутром, всей кожей, раньше, чем разум успел возразить и предложить утешительное «статуи», «тела», «окаменелости». Не статуи. Живые. Но не люди и даже не подобие людей, как он втайне готовился увидеть, — здесь отняли и это последнее утешение. Каждое существо было не телом, а протяжённостью: высокая полупрозрачная форма, размазанная вдоль собственного последнего движения, как смазан на длинной выдержке тот, кто дёрнулся в кадре. Один Архитектор был разом всюду на отрезке своего последнего мига — начало жеста, середина, конец, слитые в одну стоящую радуку плоти; конечностей у него было больше, чем уда-

валось сосчитать, потому что каждая тянулась не только вбок, в пространство, но и назад — к тому, чем была мгновение назад, — и вперёд, к тому, чем не станет уже никогда. Их не заморозили, понял Виктор. Их растянули во времени — и в этой растянутости они и жили. И все они, при всей немыслимости своих форм, тянулись друг к другу.

В этом было самое страшное. Не в чуждости их — к чуждости Виктор был готов. А в том, что жест их он знал. Они не бежали, не падали ниц, не закрывали головы руками, не прятались. Они тянулись — рука к руке, ладонь к лицу, лоб ко лбу, — в том самом движении, которое знал каждый, кто хоть раз в последнюю секунду хотел коснуться того, кого любит, и не успевал. Виктор шёл между ними, медленно, боясь задеть, и видел: вот высокое существо наклонилось к малому, и длинные пальцы застыли в сантиметре от того, что у людей было бы щекой. Вот двое склонились навстречу, и там, где у человека были бы глаза, у них дрожал сгусток застывшего света — не глаза, а то, чем они смотрели в своё время; Виктор подошёл вплотную, заглянул, не смог не заглянуть, — и в этом свете не было мёртвого. В нём стояло отражение того, что случилось в небе над городом в их единственный последний миг. Свет их гибели, пойманный и не гаснущий.

Они не двигались. Виктор стоял перед матерью и ребёнком — он назвал их так про себя, потому что человеку нужно называть, иначе он сходит с ума среди безымянного, — и смотрел на тот сантиметр между пальцами и щекой, и ждал. Минуту. Две. Сантиметр не сокращался. Он не сокращался, Виктор понял это с ужасом, который был холоднее любого страха, потому что страх горяч, а это было ледяным, — он не сокращался уже очень, очень долго. Не минуту. Тысячу лет. Десять тысяч. Эта мать тянулась к своему ребёнку дольше, чем стояли все города Земли, вместе взятые, дольше, чем люди помнят себя людьми, — и не коснулась, и не коснётся, и — Виктор отступил на шаг, чувствуя, как холод поднимается от живота к горлу, — не перестанет тянуться. Никогда.

Темпоральные Помпеи, назвал он это, и название легло, и стало чуть легче, как всегда легчает от названного. Только в Помпеях люди были мертвы, и пепел был милосерден: он хоронил. Здесь пепла не было. Здесь не было смерти. Здесь была только дрящящая, вечная, незавершённая нежность — сантиметр между пальцами и щекой, растянутый на вечность.

Виктор пошёл прочь, стараясь не бежать, потому что бежать среди них было бы кошунством, — но к концу площади он всё-таки почти бежал.

Чужой корабль он нашёл на краю города, и это было хуже всего, что он видел до сих пор, хотя он не сразу понял почему.

Корабль был не их. Не той плавной, тянущейся вверх работы, что весь город; он был угловатым, собранным из плоскостей, рёбер и заклёпок, конструкцией, которую Виктор понимал нутром, потому что так строят, когда борются с сопротивлением материалов, а не танцуют с ними; так строят те, у кого металл тяжёл, а тяга дорога. Чужой среди чужого — пришелец в городе пришельцев. И он тоже был пойман: наполовину вмёрзший в ту же неподвижность, накрепко, с распахнутым люком, из которого кто-то так и не вышел — Виктор видел в проёме вытянутую конечность, застывшую на полудвижении, тянущуюся наружу, к воздуху, к бегству, которого не случилось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.